

МАРИНА КОМАРОВА



ЛЮБИМАЯ

ЖЕРТВА ПАЛАЧА

Марина Комарова

Любимая жертва палача

«Автор»

2026

Комарова М.

Любимая жертва палача / М. Комарова — «Автор», 2026

Меня зовут Гризельда Морн, и на этой неделе меня снова казнили. Жаловаться грех: публика в восторге, бургомистр при деньгах, а палач Гуго приносит печёные яблоки и очень мило извиняется. Однако тут приезжает столичный ревизор, и выясняется, что проблемным бессмертием меня снабжает тыква с жутким характером. Сбыть её можно только добровольно, но до ночи Всех Святых что-то желающих не наблюдается. Кроме одного. Но ему я как раз отдавать ничего не собираюсь!

© Комарова М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	9
Глава 3	12
Глава 4	16
Глава 5	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Марина Комарова

Любимая жертва палача

Глава 1

На этой неделе меня казнили третий раз.

Не то чтобы я жаловалась. Вторник и четверг — это так. Будние дни, потому публики десятка полтора, скучающий писарь и две старухи с вязанием. А вот суббота — совсем другое дело. Тут уже и зеваки, и шарики, и все что-то жуют. Сразу чувствуется оживление.

Бургомистр Пфеффер стоял у лестницы на эшафот и лично отрывал билетики:

— Проходим-проходим, уважаемые! Первые ряды заняты, места сбоку по две монеты! Приобретаем абонемент на девять казней — десятая бесплатно!

— Господин бургомистр, — крикнули из толпы, — а если она в этот раз все-таки помрет?

— Тогда, любезнейший, вы присутствуете при историческом событии и должны быть счастливы, — не моргнув, отозвался Пфеффер. — Возврату билеты не подлежат.

Бургомистр всегда был хватким мужиком. Этого у него не отнимешь.

Меня тем временем привязывали к столбу. Веревка была новая, пеньковая, и кусалась, зараза так, что хотелось совершенно неблагородно почесаться.

— Потуже-потуже, — посоветовал Тыквентий снизу.

Этот еще. Сидит, рыжая морда, у подножия столба среди палой листвы. Жирненький, яркий и абсолютно довольный жизнью. Кто-то из детей в прошлом году вырезал ему рожу ножом, с тех пор он ухмылялся круглосуточно, включая те моменты, когда молчал. Молчал он, впрочем, редко.

— Тыквентий, перестань, — строго сказала я.

— Что Тыквентий? Я тридцать лет Тыквентий. Тебе воротник поправить? Ты левым плечом заваливаешься, некрасиво выходит.

Не уверена, что тридцать. Но он почему-то все время называет именно это число. Видимо, нравится.

— Тебя бы к столбу.

— Меня нельзя, — с достоинством сказал он. — Я — имущество ведьмы.

Клацхен-цацхен, спорить с овощем на глазах у трехсот человек — верный способ подтвердить все, что о тебе говорят. Впрочем, кого это удивит?

Толпа тем временем предвкушала. Пахло жареным луком, пивом и чуть-чуть чем-то паленым, потому что кто-то опять притащил на площадь бочку со смолой в надежде, что сегодня попробуют по-старому. Пробовали в позапрошлом году, кстати. Я тогда просидела в огне до вечера, потому что стеснялась выйти раньше и испортить людям праздник. А кушать, между прочим, очень хотелось!

Дородная женщина в первом ряду подняла на плечи сына, чтобы видел получше. Мальчишка радостно помахал мне. Я помахала бы в ответ, но руки были заняты столбом. Поэтому пришлось подмигнуть.

В какой-то момент толпа притихла, и я поняла, что вышел Гуго.

Он всегда выходит одинаково. Сначала появляется внушительный топор, потом не менее внушительное плечо и уже после весь остальной Гуго. В нем шесть с половиной футов и, я подозреваю, ни одной злой мысли за всю жизнь. Черный кожаный фартук с белой надписью поперек груди: «Я БОЮСЬ ЕЕ». А снизу криво нарисованный череп.

Надпись сделали ученики цеха энное время назад в шутку. Гуго носит ее до сих пор и не думает избавляться. Горожане уверены, что эта надпись про мои проклятия, но есть нюанс. Никаких проклятий нет.

Он поднялся по ступеням, остановился в двух шагах и вежливо поздоровался:

— Доброе утро, госпожа Морн.

— Доброе, господин Кроткий, — кивнула я.

— Хорошо выглядите.

— Даже привязанная к бревну?

— Оно вам идет, — сказал он и тут же уставился на топориче с таким ужасом, будто оно само это произнесло.

Ну да, местечко для комплиментов, конечно, специфическое.

Из-под капюшона палача были видны только глаза. Голубенькие. И с ресницами, которым завидовала бы любая девица на выданье. Три года смотрю в эти глаза примерно раз в месяц. Временами чаще, временами реже — тут все зависит от частоты казней.

— Вы позавтракали? — заботливо поинтересовался он.

— Нет.

— Плохо.

— Гуго, меня сейчас будут казнить, — напомнила я. На всякий случай.

— Одно другому не мешает, — упрямо сказал Гуго.

Хм, наверное, в этом что-то есть.

Писарь на помосте тем временем развернул свиток и заголосил про ведьмовство, порчу скота, наведение бородавок на почтенную вдову Дорту и сношения с силами, каковые он перечислять не станет из скромности. Скота я не портила, бородавки у Дорты свои, я даже мазь ей носила бесплатно, дура.

Сношения... Давайте посмотрим правде в глаза. В этом городке с приличными кавалерами большая проблема. Тут и простенького не найдешь, про какие уж силы может идти речь!

— Приступайте, — вздохнул писарь.

Гуго встал у столба. Мою веревку развязали и подвели меня к плахе. У нас, знаете ли, уже график. По субботам плаха, а по будням веревка. У нас в Кюрбисхайме все быстро становится традицией.

— Простите, — потупился он.

— Ничего страшного, — успокоила я.

— Я обещаю, что в этот раз постараюсь.

Гуго Кроткий всегда старался. Это уж я знаю.

Он выпрямился, и толпа набрала воздуха в грудь.

— Внимание! — заорал снизу Тыквентий. — Сорок вторая попытка! Ставки принимает господин Пфеффер, шансы один к сорока двум, но вы все равно ставьте, у нас же праздник!

Топор пошел вниз. Хороший, кстати, топор. Гуго его точит каждое утро, об этом судачат все в городе.

Я зажмурилась и... Дальше удар, темнота, короткое и очень обидное ощущение, будто тебя целиком выворачивают наизнанку, а потом... холод на затылке, будто кто-то приложил туда мокрую тряпку.

Я громко чихнула. Триста человек воодушевленно взревели.

— Ставки не принимаются! — завопил Пфеффер. — Ставки не принимаются, я сказал!

Я села на плахе и потрогала шею. С ней порядок, а вот с воротником опять беда-беда. Зашивать его мне своими ручками, а нитки нынче по четыре монеты моток!

Гуго стоял надо мной, опустив топор. Плечи тоже опустил. Да и вообще выглядел так, словно это его только что казнили.

— Госпожа Морн...

— Гуго, не начинайте.

— У нас это семейное, — тихо произнес он. — Дед, отец, дядя... Никто ни разу не промахнулся.

— Вы и не промахнулись, — заметила я.

Шея может подтвердить!

Это его почему-то добило совсем. Вот каждый раз он такой грустный, что прямо хочется погладить и забрать домой.

Тем временем площадь начинала пустеть. Дети растаскивали сувенирные тыквы. Пфедфер, паразит, велел вырезать на них мое лицо, и продавались они, честное слово, лучше моих зелий.

Гуго вернулся с пледом и котелком. Я даже не заметила, как уходил-то. Надо же.

Плед, кстати, он приносит с прошлой осени, с тех пор как я после одной особенно ветреной казни неделю кашляла. Потом пришлось лавку даже закрыть и сидеть с горчичиками и горячим молоком. А налоги, между прочим, сами себя не заплатят!

У Гуго, кстати, не только хороши глаза и ресницы, но еще и орлиный нос с горбинкой. И черные-черные волосы.

— Печеные яблоки с медом, — сказал он, устраиваясь на ступенях эшафота. — Осторожно, горячие.

— Вы это на своей жаровне сделали?

— Конечно.

— Гуго, у вас на этой жаровне вообще-то клеймят.

— Я ее мою, — оскорбленно сказал Гуго.

Яблоки были невероятные, тут не поспоришь. Мы сидели рядышком, свесив ноги, и я жаловалась на Дорту, которая донесла на меня в четвертый раз за месяц, а он кивал, соглашаясь, что Дорта коза еще та.

Солнце садилось за ратушу, и это был, если совсем честно, лучший час на этой неделе.

— Мило, — подал голос Тыквентий. — Тошнотворно, но мило.

— Ешь листья, — велела я.

— Я такое не ем, дорогуша. Что за манера пытаться в меня впихнуть силос? Я сейчас просто наблюдаю и делаю выводы.

Гуго покосился на него так, как смотрят на чужую собаку, которая может и цапнуть. Живые тыквы... не сказать, что обыденность, но возле ведьмы такому почти не удивляются. По крайней мере люди, которые уже в курсе, что это мое. В смысле, этот.

— Никак не привыкну, что ваша тыква болтает, — признался Гуго.

— Она не совсем моя.

— Твоя-твоя! — радостно хмыкнул Тыквентий.

Внезапно через площадь пробежал глашатай. Морда красная, довольная, глазки маленькие, лучатся так, что мама не горюй. Нет, человека можно понять: новостей в Кюрбисхайме не случилось с самого Цветочного круга, что приходится на середину весны, а тут — на тебе!

— Из столицы едет ревизор по духовному ведомству! — счастливо заорал он. — По делу о неумирающей ведьме! Сорок два протокола! Сорок два, уважаемые горожане!

Я чуть не выронила яблоко из рук. Три года меня душевно казнят. Все это время я жалуюсь на соседку палачу и ем его яблоки. Как-то привыкла считать, что так теперь и будет всегда, а всегда, оказывается, штука хрупкая.

Тыквентий тем временем ухмылялся. Он, конечно, всегда ухмыляется, у него рожа такая.

Но в этот раз что-то было не так.



Глава 2

Мой дом достался мне от бабули. Две комнаты, кривая печь и огород, на котором все растет, все течет и все можно сожрать.

Первым делом я поставила греться воду, вторым — сняла с гвоздя счет. Его приносит на следующий день после каждой казни младший писарь, потому что старший меня боится. Бумага хорошая здесь, и городская печать имеется.

Я положила счет на стол, начала собирать в пучок свои рыжие волосы и скользнула взглядом по написанному:

Веревка пеньковая, новая — 6 монет.

Свечи поминальные, 4 шт. — 8 монет.

Износ инструмента — 1 монета.

Уборка помоста — 3 монеты.

Получалось к оплате восемнадцать монет в семидневный срок (обычно именно в такой и платила).

— За что уборка? — вслух спросила я, справившись с волосами.

— Ты там натоптала, — отозвался Тыквентий с подоконника.

— Меня вообще-то несли.

— Значит, натоптали они. Кузены Пфеффера, кстати. Хорошо устроились!

Грабеж среди бела дня!

Я села к столу и придвинула коробку из-под соли, в которой держу деньги. В коробке грустно лежали четыре монеты и пуговица. Не разгонишься как-то.

Вот в чем никто в Кюрбисхайме не отдает себе отчета, так это в том, что казнь — дорогое удовольствие. Пфеффер продает билеты по две монеты, а с меня берет восемнадцать за мероприятие. Зараза. Я работаю на его ярмарку бесплатно и еще доплачиваю за веревку, которой меня к столбу вяжут. Надо с этим что-то делать.

Три года назад я думала, что это временно. Но нет ничего более постоянного, чем временное.

— Ты хмуришься, будут морщинки, — заметил Тыквентий. — Тебе не идет. Лучше улыбайся, как я!

— Твоя улыбка — результат работы ножа.

— Одно другому не мешает!

Пыхтя, он повернулся на подоконнике. Я не видела, как он это делает, и никогда не смотрю специально, потому что от этого потом плохо спится. Тыквентий же подставил бок под последний свет заходящего солнца.

— Подвинь меня к солнышку, — распорядился он.

— Сам подвинься, — буркнула я.

— Я овощ, Зельда. Прояви милосердие.

Вздыхнув, все же подвинула. Куда ж его денешь?

Ладно, все это чудесно, но деньги сами собой не заведутся. Из зелий у меня оставались две склянки от кашля и одна от бессонницы, а из трав то, что не отсырело. За мазь от лишая мне в прошлый вторник заплатили курицей, а курица оказалась чужая, и ее пришлось вернуть.

Такая, знаете ли, практика. Лечиться у ведьмы, которую только что казнили, горожане ходят охотно, а платить за это считают почему-то необязательным.

Спустя некоторое время в мою дверь постучали. Надо отметить, что стучит у нас в городе только один человек. Все остальные заходят или, наоборот, обходят дом с другой стороны улицы.

— Открыто, Дорта, — мрачно сказала я.

Она вошла с кислым лицом и той особенной осанкой, которая бывает у людей, зашедших ненадолго... то есть минимум на час. На руке висела корзинка.

— Гризельда, деточка, я тебе яиц принесла!

— Там три штуки, — посчитала я.

— Три, — согласилась она. — Больше куры не дали. Ты бы посмотрела на них, а? Ты же умеешь.

— Умею, — не стала я спорить, понимая, что смотреть надо и кур, и яйца.

— Ну вот. По-соседски можно-то.

И правда. Доносишь на меня ты тоже по-соседски, коза безрогая.

Она села, не дожидаясь приглашения. Поставила корзинку себе на колени, чтобы, если понадобится, унести яйца обратно.

— Как рука? — спросила я ровным голосом.

— Ноет. И бородавки эти, чтоб их. Ты мне мазь-то ту не сделаешь еще? Прошлая кончилась.

— Прошлую я вам даром отдала.

— Так и эту даром, — ласково сказала Дорта. — Мне-то что, я старуха.

Я смотрела на нее и думала о том, что четыре доноса за месяц — это, если вдуматься, забота. Иначе город обо мне забудет, а забытая ведьма никому не нужна, даже вдове с бородавками. Не соседка, а золото. Правда, пробу ставить негде.

— Дорта... — начала я.

— Что, деточка?

— Кто на меня в четверг написал донос?

Она даже не отвела своих болотно-зеленых блеклых глазок:

— Люди говорят, что это... мельникова баба!

— Мельникова баба неграмотная, — хмыкнула я.

— Так ей писарь пишет, — не моргнув, нашлась Дорта. — За две монеты готов на все. Ставка у него-то тогось... малехонькая.

Вот за что я ее, в общем-то, терплю. Врет она так творчески, что почти получается душевная беседа.

— Слыхала про ревизора? — спросила она, помолчав ровно столько, сколько нужно, чтобы я ее не выставила.

— Слыхала, — кивнула я.

— Строгий, говорят. Из столицы да по духовному ведомству.

— И-и-и?

— Так ведь он же не по-нашему будет, — с удовольствием сказала Дорта, и я не совсем поняла, о чем речь. А та продолжила: — Наш-то господин Гуго с легкой рукой, а тот привезет свое. Столичное. У них там, деточка, порядок.

Легкая рука для палача звучит прямо как наказание. Хотя кто их, палачей, знает-то.

Яйца в корзинке она при этом придерживала и не спешила отдавать.

— Может, и привезет, — пожала я плечами, пытаясь понять, что соседка хочет еще.

— Ты бы, деточка, подумала, — продолжила Дорта.

— О чем?

— Ну как о чем, — протянула она, поднявшись и обстоятельно расправив юбку. — О душе.

О-о-о, началось. Это я слышу регулярненько. Душа, конечно, хорошо, но желудок мне как-то ближе. В общем, ясно-понятно, ничего нового.

Я проводила ее до порога, и там меня вдруг осенило:

— Дорта, погодите-ка!

Тыквентий на подоконнике замер, чуя нехорошее плодоножкой. Я подошла, взяла его обеими руками... Тяжелый, клацхен тебя заberi, и вложила старухе в корзинку вместо яиц. Яйца она все же оставила мне. Какая щедрость!

— Вот вам с огорода!

— Ой, — растерялась Дорта. — Это чего?

— Тыква же, — и глазом не моргнула я.

— Вижу, что тыква. А рожа? — подозрительно уточнила Дорта.

— Дети вырезали, — отмахнулась я. — Испечете с медом.

Дорта явно не понимала, что за этим стоит, но не могла придумать причину отказа. Я честно ждала, когда она начнет, и так же честно приготовилась настаивать.

— Ну, коли даром... — неуверенно протянула она.

Бери-бери, соседка дорогая. Для тебя ничего не жалко!

Дверь за ней закрылась, и в доме стало тихо. Фух.

Короче, вечер я провела прекрасно.

Заштопала воротник, разобрала травы и сделала себе омлет с помидорами. Посчитала, что если продать бабкин медный таз, то восемнадцать монет набирается, а если еще Пфедферу напомнить про долю с сувенирных тыкв, то, может, и не придется продавать таз.

Надо бы подумать, что дальше. А то в основном расписание казней и рабочих дней. Теперь из столицы ехал ревизор и собирался менять уклад моей жизни. А я, оказывается, уже и привыкла.

Значит, к его приезду надо стать тихой и скучной травницей с огородом. Никаких разговоров с овощами. И на казни лучше не попадаться. По возможности.

Я даже почти придумала как. Легла за полночь и спала так хорошо, что проснулась чуть позже обычного. Печка остыла, а в доме стоял запах сушеной мяты. М-м-м, прекрасно.

Тем временем посередине стола, между солонкой и коробкой из-под соли, сидел Тыквентий. Его правый бок был в земле с налипшими листьями.

— Восемь миль, Зельда, по росе ночью, — укоряюще произнес он.

Я очень медленно опустилась на табурет, понимая, что очередной раз не вышло избавиться от тыквы.

— Дорта живет через два дома, — только и смогла произнести я.

— Дорта живет через два дома, — согласился он. — А я шел не от Дорты, эта старая цацхен попыталась продать меня кузнецу, что ехал за город. — Тыквентий выдержал паузу, а потом почти ласково добавил: — И да, ты снова попыталась меня выбросить.

Глава 3

/Гуго Кроткий/

Топор нужно точить каждый день.

Это первое, чему меня учил отец, и я всегда следовал этому совету. Сталь не прощает перерывов. Человек, который берется за инструмент раз в неделю и в промежутке о нем не думает, однажды промахнется. Такое уж у палачей поверие.

Я работал бруском от себя. Делал сорок движений на сторону, потом брался за ремень, а после него уже за масло.

Занимало это час с четвертью. Раньше выходило меньше, но раньше я не думал во время работы. И вот не надо смеяться, я действительно думаю.

Наш дом стоял на отшибе за кожевным рядом. Так положено, и я не в обиде, между прочим. Тише, чем в других местах, и от воды тянет прохладой. Внизу мастерская, наверху две комнаты, а на кухне на стенах портреты деда Хуберта, отца и дяди Клауса, который служил в столице и получил именные часы.

Все трое смотрят на середину стены, где висит гвоздь, а на гвозде — фартук. Надпись «*Я боюсь ее*» сделал Мартин, мой ученик, хоть и не сразу признался. Однако остальные сделали бы ее еще кривее.

Конечно, я собирался избавиться от нее, но в тот же четверг и Гризельда увидела меня в этом фартуке на помосте, прочитала и... засмеялась. Первый раз за все время. До этого со мной только здоровалась. В итоге надпись теперь была всегда со мной.

В воскресенье у палача работы нет, поэтому в этот день я привожу в порядок книгу. В ней записана каждая казнь, указаны приговор, исполнитель, отметка. И дата, конечно.

Пять поколений у нас выглядит со сплошным: *исполнено*. Отец вон проставил отметку двести шестнадцать раз подряд, и один раз только уточнил, что со второго раза. Этот момент он до смерти считал позором и рассказывал об этом мне на каждое Средизимье.

После отцовских записей идут мои в течение семи лет. А потом страница, которую я в воскресенье и привожу в порядок, потому что чернила в этой графе выцветают быстрее, чем в других. Не знаю почему, но выцветают.

Гризельда Морн, ведьмовство. Не исполнено.

И так сорок один раз. Каждый раз, когда смотрю на это, хочется хлопнуть себя по лбу. Но, конечно, смысла это делать никакого нет.

Я разлиновал новый разворот, обмакнул перо и вписал сорок вторую строку с датой. Вздыхнул.

Есть вещи, о которых человеку моего ремесла думать не полагается. Например, что было бы, если бы в одной из этих строк стояло то коварное *исполнено*?

После Гризельды вместо фамилии Шайнц меня все зовут Гуго Кроткий. Другой бы возмутился, а мне... нормально. Странно, да?

Я думаю об этом каждое воскресенье примерно четверть часа, но ничего умного, конечно, придумать не могу. Потому начинаю заниматься чем-то другим. Вот, например, надо помыть жаровню. Ей и займусь.

Спустя некоторое время ко мне без стука появился Пфеффер.

— Гуго, мальчик мой, есть разговор.

Мне тридцать восемь лет, мальчиком я могу быть только для слабовидящего в темном переулке.

— Слушаю, господин бургомистр, — отозвался я.

— К нам выезжает столичный ревизор, — произнес Пфеффер, положив на стол свернутую бумагу, и придавил ее пальцем. — И везет с собой исполнителя.

Я осторожно поставил жаровню на пол, чтоб не выскользнула. Покупал ее на свою премию, между прочим.

— Исполнителя чего?

— Я знаю? У них там протоколы на протоколах, — ласково сказал Пфеффер. — И в каждом стоит твое имя, Гуго. Ты вообще понимаешь, как это читается в столице?

— Как невиновность осужденной, — не смутился я.

— Как непригодность палача, — так же ласково поправил он. — Или как колдовство. Угадай, что выгоднее городу?

Что я вам, гадалка Жужанна? Это ее задача гадать на кофейной гуще. Она пыталась открыть кофейню, но варила настолько гадкий кофе, что переквалифицировалась в гадалку. Так хотя бы клиенты не пытаются ее прибить.

Пфеффер тем временем развернул бумагу и подвинул ко мне. Там говорилось, что нижеподписавшийся, то бишь палач вольного города Кюрбисхайма, свидетельствует следующее:

«Приговор в отношении Гризельды Морн не был приведен в исполнение сорок два раза не по причине недостатка усердия или умения исполнителя, а вследствие противуестественной природы осужденной».

Надо же, последнюю казнь уже тоже посчитали, пока я ее только в книгу вносил. Ловко.

Я еще раз прочел. Кошмар. Какой еще противу... ес... тес... Тьфу!

— Подпиши, — велел Пфеффер, — и останешься при должности. Не подпишешь — виноват ты, и в субботу с ней уже поработает столичный палач. И работает он, Гуго, не так, как ты.

Мне не очень хотелось знать, как именно. Однако это слово с ошибкой... Пфеффер обо мне не очень высокого мнения. Ну или больно переусердствовал.

— Она не *противуестественная*, — проворчал я.

Пфеффер посмотрел на меня почти сочувственно:

— Мальчик мой, я тебя не спрашиваю, какая она. Я тебя спрашиваю, чья подпись будет стоять внизу: твоя или ничья?

Я не из тех, кто потом объясняет, что не понял. Просто подписал бумагу, где моей рукой написано, что Гризельда Морн... не человек. Ради того, чтобы в субботу к ней никто, кроме меня, не подошел. И то, и то, в общем-то, можно считать правдой.

Пфеффер посыпал подпись песком, свернул бумагу и ушел довольный до ужаса. Ну, хоть кто-то доволен во всей этой ситуации.

Когда поднялась луна, я сел писать письмо. Пишу я их с прошлой осени и до сих пор не отправил ни одного, потому что письмо от палача к осужденной — это, если разобраться, документ, а документы у нас читает писарь.

Но пишу все равно, потому что так легче на душе.

«Госпожа Морн, я хочу вам сказать одну вещь, и говорю ее только на бумаге, которую вы не прочтете.

В том кветне я замахнулся и в последний момент повел плечом. Немного. Никто этого не заметил, кроме меня. Я делал так три раза.

Остальные были честные, и я не знаю, что вас держит на этом свете, и не хочу знать.

Я боюсь не вас, госпожа Морн, а того утра, когда у меня получится.

Знаете, что яблоки в этом году мелкие, но сладкие? Печь их надо долго, иначе жесткие выходят.

Остаюсь с почтением, Гуго Кроткий, палач вольного города Кюрбисхайма».

Я перечитал, сложил вчетверо и убрал в книгу, пристроив между страницей отца и своей. Там уже одиннадцать таких.

Потом взял брусок и стал точить топор, хотя тот был наточен. Но скоро приезжает ревизор, а до этого дня мне нужно чем-то занять руки.



Глава 4

/Гризельда Морн/

В среду к обеду приехал брат Ансельм и первым делом попросил чернил. Не воды с дороги, не пива и даже не показать ему ратушу.

Оказалось, что у писаря чернила кончились, у аптекаря дороже, а у меня, как известно, можно взять даром. Какая вопиющая наглость.

К его приезду я готовилась два дня. Пол вымыла, травы убрала в сундук, гримуар под половицу вместе с ситом, которым бабка гадала. Не так, как настоящая ведьма, но все же. Платье надела убогое да коричневенькое, что придавало мне вид печальный и дурошлепствующий. На столе разместились прялка, хлеб и одна миска. Покоцанная. Для антуражу.

Обычная травница. Унылая до зубовного скрежета. Огород да куры. Кур, правда, нет, но их отсутствие не бросается в глаза.

— Ты похожа на вдову лесника, — сказал Тыквентий, глядя на меня с подоконника. В холодное время года он наотрез отказывался оттуда слезать и ловил все лучики солнца.

— Молчать.

— Я и молчу.

— Нет, ты говоришь!

— Я просто предупреждаю, — уточнил он.

Я почему-то ждала, что ревизор будет высоким, сухим и с горящими глазами. С посохом еще. Похоже выглядят персонажи, что кричат на улицах про очищение и роняют пену изо рта.

Брат Ансельм оказался ростом мне по плечо. Круглые очки в стальной оправе, сутана, аккуратно подшитая по росту, и сумка с ремнем через грудь, набитая бумагами так, что ремень аж врзался.

— Госпожа Гризельда Морн? — осведомился он. — Тысяча пятьсот сорок девятого года рождения, травница, дом на Гусиной улице?

— Она самая, — кивнула я.

— Прекрасно, — кивнул он и вошел, не дожидаясь приглашения. Поставил сумку в мою миску и чихнул. — У вас пыльно.

— Я, между прочим, все помыла.

— Все так говорят, — рассеянно сказал брат Ансельм и достал первый формуляр.

Признаюсь, я готовилась к обвинениям и две ночи придумывала, что отвечать. Даже репетировала перед печкой смиренное лицо.

Но меня пока ни в чем не обвинили.

— Итак, у нас сорок два протокола, — сказал он, разложив бумаги веером. — Госпожа Морн, вы понимаете, что это значит?

— Что я невиновна? — улыбнулась я.

— Нет, я про значение для отчетности, — терпеливо поправил он. — В губернии на такое есть три графы. Первая, что приговор исполнен. Вторая, что приговор отменен. И третья... осужденный бежал. У меня сорок два случая, которые не подходят ни к одной, и мне их проверять до Михаэлева дня. — Он глянул на меня поверх очков. — Вы понимаете, *что*вы для меня, госпожа Морн?

— Я для вас ведьма?

— Вы для меня незакрытая графа.

Вот тут мне и стало по-настоящему нехорошо.

Фанатика можно разжалобить, потому что тот кричит. А кто кричит, тот чего-то боится, и это *что-то* можно найти. С фанатиком, в конце концов, можно поспорить.

А брату Ансельму на меня было совершенно наплевать. Ему нужна была галочка.

— Приступим к описи, — ровно сказал он и достал новый лист.

— К чему? — заморгала я.

— К описи имущества. Так полагается, — сообщил брат Ансельм, обведя кухню взглядом. — Стол, табурет две штуки, сундук, прялка... Прялка ваша?

— Бабкина, — честно ответила я.

— Значит, ваша, — кивнул он. — Еще печь и ухват.

Он писал быстро и, судя по всему, с удовольствием. У печки задержался и отметил, что пол ветхий. А потом дошел до подоконника и озвучил:

— Тыква.

— Она самая, — согласилась я.

— Столового сорта?

— Кто ж его знает, — пожала я плечами.

Брат Ансельм наклонился и внимательно рассмотрел рожу, вырезанную ножом.

— Дурной обычай, — заметил он. — В округе на Всесвятскую тоже режут. Считается, что отпугивает.

— Кого? — уточнила я.

— В формуляре не указано.

В итоге на бумаге появилась запись: *«Тыква огородная с изображением, одна штука»*.

— Она не моя, — зачем-то сказала я.

Вот уж точно, что никто не спрашивал. Перо остановилось.

— А чья? — с интересом спросил брат Ансельм.

Ничья. Это, кажется, еще хуже, а правда звучала так... Тыква приходит сама, я ее выносила за восемь миль, и она вернулась к завтраку. После такой правды опись имущества обычно заканчивается костром.

— Ладно, моя, — обреченно сказала я.

— Прекрасно, — сказал брат Ансельм и подчеркнул строку.

— Замечательно, — подтвердил Тыквентий.

В помещении повисла тишина.

Я закрыла глаза и честно попросила у всех сил, которые меня слушают, чтобы брат Ансельм решил, что это я. Чревоущание. Простуда. Что угодно!

Гость тем временем озадаченно смотрел то на меня, то на тыкву. В итоге вытащил из сумки другой формуляр.

— Так, — деловито сказал он. — Это меняет статью.

— Вы даже не удивлены? — озадачилась я.

— Госпожа Морн, я семнадцать лет работаю в этом ведомстве. Меня однажды обругал колодец, поэтому чему тут удивляться... — Он обмакнул перо. — Имя у нее есть?

— Тыквентий, — представился Тыквентий, прежде чем я успела что-то произнести.

— По батюшке?

— А вот это, уважаемый брат, вопрос интимный.

Ансельм кивнул, явно уважая право на личную жизнь.

В результате к четырем часам дня на моем столе лежало девять заполненных листов, а я сидела на табурете и смиренно держала руки на коленях.

— Итак, порядок работы, — сказал брат Ансельм, складывая бумаги. — Одной казни недостаточно. Один раз — случайность, округ такое не примет. Мне нужен ряд.

— Ряд? — заморгала я, ничего не понимая.

— Ряд мероприятий, — охотно пояснил он. — Понедельник, среда, суббота. С замерами до и после. Разными способами и по протоколу, начиная с наименее затратного для города. Повторять будем до достоверного результата.

Кхм, простите, а настойки мне когда делать, если почти все время будет занято казнями? Уже не говоря про то, что это мои казни. Терпеть не могу такие загруженные недели!

— А если достоверного результата не будет? — спросила я.

— Тогда я запишу, что его нет, — сказал брат Ансельм с некоторой грустью, — и это будет очень плохой отчет, госпожа Морн. Худший в моей карьере. — Он подвинул ко мне лист и перо. — Распишитесь, что ознакомлены.

Я расписалась, очень туго соображая. Услышанное не хотело укладываться в голове.

— Вот здесь еще. — Тычок. — Формуляр двенадцать-бэ. Это акт о вашем присутствии. Он у нас обязательный, потому что бывали случаи, когда осужденный на казнь не являлся.

Какой молодец!

— Я приду, — буркнула я.

— Все так говорят, — вздохнул брат Ансельм, а потом вдруг вежливо уточнил: — Понедельник вам удобен? А то я могу и во вторник, у меня в понедельник мельница.

Мне захотелось застонать.

Глава 5

Магистрат заседал с утра по вопросу чрезвычайной важности. Решали, как быть с падением сборов.

Мне это потом пересказал Ганс. Я ему носила мазь от ячменя, а он мне всякие новости.

Дело в том, что регламент брата Ансельма подкосил Пфеффера, попав в самое сердце. Три казни в неделю — это же не на постоянной основе. Если так делать часто, то публике приестся, да она и перестанет ходить.

— Обесценивание! — заявил Пфеффер магистрату. — Господа, мы своими руками роняем товар!

И товаром была я. Чудесно.

К обеду он-таки нашел выход, и обязана признать — это было гениально.

Будние казни объявили техническими. Вход свободный, никаких оркестров, никакой торговли. Просто приходите посмотреть, если делать нечего. За две недели народу приелось так, что последний раз пришли восемь человек и коза.

А на ночь Всех Святых Кюрбисхайма бургомистр назначил **ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ И ЕДИНСТВЕННУЮ КАЗНЬ ВЕДЬМЫ ГРИЗЕЛЬДЫ МОРН.**

Как вам, а?

В тот же вечер расклеили афиши, обведя красной краской. С моим лицом, конечно. Афиша без лица работает хуже, это знают все.

«В ночь на первое листопада в присутствии духовной комиссии из столицы!

Ярмарка с полудня. Оркестр в два состава и тыквенный ряд. Места на трибунах от шести монет, стоячие по две. Дети до семи бесплатно».

Внизу, помельче значилось:

«Заключительное мероприятие сезона. Повторов не будет».

Ради такого дела меня вызвали в ратушу на согласование.

— Гризельда, милочка! — Пфеффер был счастлив по самое не могу. — Садись-садись. Смотри! — Он развернул передо мной макет афиши. — Как тебе шрифт?

Я многозначительно молчала.

— Ганс говорит, надо круглее, — озабоченно продолжал бургомистр. — А я говорю, круглее — это на свадьбу. Тут нужен строгий. Ты как считаешь?

— Господин бургомистр...

— И вот ещё, — перевернул он лист. — Программа! С полудня ярмарка, в четыре кукольные, в шесть борьба на поясах, а в восемь факелы! Тебя ставим на девять. Раньше нельзя, темноты не будет, а темнота — это важно для впечатления. Чем меньше свету, тем сильнее драма.

— Господин бургомистр, вообще-то вы меня казните.

— А как иначе? — удивился Пфеффер. — Мы для этого и собираемся!

Ко мне придвинули чернильницу так, будто оказывали честь.

— И вот что еще! Я тебе предлагаю четверть с тыквенного ряда. Не долю с билетов, потому что билеты городские, а именно с ряда. По-честному, Гризельда. Ты у нас три года на казённых верёвках, я всё понимаю. Подпишешь?

За веревки я, кстати, доплачиваю. Я посмотрела на его довольную физиономию и подумала, что вот сейчас узнаю, где во мне кончается терпение.

Узнала.

— Нет, — просто сказала я.

— Почему? — поразился он.

— Потому что я не товар.

Пфеффер вздохнул, отложил перо и сцепил пальцы на животе.

— Гризельда, ты должна городу деньги.
Ну, началось!

После этого разговора я пошла домой через площадь, и лучше бы сделала это в обход. Потому что на площади сколачивали трибуны. Стучали молотки, пахло свежей сосной, старший плотник орал, что доски сырые, а мальчишки уже носились между лесами и продавали программки, клацхен-цацхен, свежие!

— Госпожа Морн! — обрадовался кто-то. — А правда, что в девять?

— Угу, — буркнула я.

— И правда, что комиссия из столицы?

— Правда.

— Ох и ночь будет!

Дальше было хуже.

Дорта, встретившись со мной у колодца, сообщила, что взяла место на трибуне за шесть монет.

— Дорого, деточка, но я же тебя с малых лет знаю!

Очень душевно.

Аптекарь попросил сварить ему мази на два месяца вперёд, а то потом-то не у кого будет. Мельникова баба спросила, не отдам ли я ей после всего мой медный таз. Ну, а что? Мне ни к чему, а ей польза.

А у ратуши стоял чумазый мальчишка, которого мать на казнях сажает на плечи, и завожённо смотрел на афишу, где красной краской было нарисовано моё лицо.

Он даже не понимал, что там написано. Читать еще не умеет-то.

Вернувшись домой, я подумала вот о чем. Три года я жила с мыслью, что город меня терпит. Ну, казнят, доносят и не платят за мази. Зато я своя! Вон, Дорта яйца носит, Ганс за мазь новости, аптекарь здоровается.

А выяснилось, что своя я ровно до той минуты, пока не выгоднее иначе.

Обидно, что они даже не со зла. А так... Просто у них праздник, а я — программа.

Впрочем, пострадать над своей долей мне не дал Гуго, который притопал к калитке и протянул какой-то сверток. Там оказался шерстяной плед, пахнувший дымом и немного бараниной. Ну, тот самый.

— Он же ваш, — удивилась я.

— Он вам нужнее, — сказал Гуго. — Ночи холодные, а до листопада ещё... долго, — он посчитал.

— Гуго, а вы видели афишу?

Он посмотрел куда-то мимо меня, и его уши чуть порозовели.

— Видел, — сказал он. — Три штуки снял сам.

— Зачем? — распахнула я глаза.

— Затем, что там ваше лицо неправильно нарисовано, — сердито сказал он. — У вас брови не такие.

И ушёл, пока я соображала, что ответить.

Следующий визит брата Ансельма был, разумеется, с формуляром.

— Госпожа Морн, я вынужден уточнить процедуру. Мероприятие первого листопада магистрат позиционирует как городское увеселение с кукольными и борьбой на поясах.

— Да, я в курсе, — кивнула я, сосредоточенно нарезая овощи. Скоро обед, Ансельм явился очень невовремя.

— Городское увеселение не является формой исполнения приговора, — строго произнес он. — Я не могу занести в отчёт борьбу на поясах. Поэтому мы проводим её как рабочий

опыт номер семь, а всё остальное... Оркестры, факелы и тыквенный ряд оформляем отдельной бумагой как сопутствующее.

Я стукнула ножом громче, чем собиралась. Брат Ансельм на всякий случай отодвинулся подальше и добавил:

— И, госпожа Морн... девять вечера — это плохо. В темноте при факелах никакие замеры не выходят. Я говорил бургомистру, но он сказал, что темнота создает нужное впечатление, и чем свету меньше...

— Он и мне так сказал, — пожала я плечами.

— Мне очень жаль, — вдруг тихо сказал брат Ансельм.

И, кажется, это было правдой.

Ночью я лежала и слушала, как на площади доколачивают трибуны. Плотники работали при факелах, чтобы успеть, и стук шёл через весь город. Кажется, у них оплата сдельно, а не повременно.

— Эй, слышишь? — спросила я, пялясь в потолок.

— Слышу, — отозвался Тыквентий. И, помолчав, добавил с таким удовольствием, что я даже приподнялась на локте: — Хорошая будет ночь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.